

Что такое авангард сегодня? Сложный вопрос. А значит, и ответ может быть только сложным. Ясно, что это не то же самое, что авангард начала двадцатого века. Не Белый это, не Хармс, не Хлебников и даже не Кржижановский. А если посмотреть шире, то даже и не Джойс, не Беккет, не Арто, не Берроуз, не Гийота. Изыски, «измы», стилистические поиски и нарушение табу позади. Мы вступили в эру симуляции, и даже то, что мы называли вчера постмодернизмом, в прежнем смысле уже вторично. Век футбольных фанатов, стихийных митингов, социальных сетей, размывающих сознание потоков информации, век государственного беспредела и социального ожесточения сметает все прежние определения, все старые теоретические наработки. Так или не так? Не совсем, конечно. Прошлое по-прежнему врезается в настоящее, пытается его удержать, придать хоть какой-то смысл, скрепить хоть какими-то скрепами. И все же неумолимый горизонт непонятого, неизвестного, все более и более угрожающего приближается, и скорость его все нарастает. Будущее сметает все на своем пути, стирает и самого человека с его вчера. Его непонятное, бессмысленное становление, пребывание, ожидание роковой черты. Вот они и на пороге, эти незавидные последние времена. А тут еще и победное шествие коронавируса, изменение климата... Ничего мы не решили, ничего мы не знаем, ничего не можем изменить...

Авангард сегодня – не проблема формы, авангард сегодня зондирует последние содержания. Сейчас как никогда перед авангардом снова встают проблемы метафизики или, скорее, даже патафизики, если воспользоваться этим термином Альфреда Жарри. Напомним,

патафизика – это «наука о том, что добавляется к метафизике – в ней самой или вне ее, – простираясь так далеко за ее пределы, как она сама выходит за пределы физики». И если метафизика, согласно Хайдеггеру, находит свое завершение в технике, то патафизика, согласно Делезу, снова от великой теории машин, преодолевая ее, находит выход к поэтическому. И, значит, оставляет нам шанс, что не изощренная техника письма и не компьютерные способности еще могут нас спасти, а наше воображение, наша фантазия. Не число, а слово, если вспомнить одноименное стихотворение Гумилёва.

Но что мы должны рассказать, если уже неважно – как? Что за новый шум должны мы расслышать и какую новую ярость воспроизвести? И кто этот новый герой – новый идиот, пытающийся пересказать жизненную повесть, подобную обрывкам сна, – и каков тогда новый Фолкнер?

Не стоит, пожалуй, проводить сегодня непримиримую черту между авангардом и реализмом. Детерриториализация – сегодня основной закон преодолений, когда все выходит из своих берегов. Авангард сегодня включает в себя и реализм, точнее, нащупывает его берега и его дно, его основания, догадывается, насколько они зыбки. Насколько зыбко все наше представление о себе, о наших будто бы реалистичных контурах. Основа реальности – кривые зеркала. Только вот кто в них смотрится и зачем? Публике не нравится ее отражение? Вспомним Бодлера: «Аристократическое удовольствие – не нравится публике». Верный во все времена признак авангардистского произведения. Еще Бодлер хотел, чтобы поэтическое произведение вызывало «нервный шок» и раздражало читателя своей непонятностью. В той же непонятности упрекали и Джойса, и Пруста, и того же Фолкнера. Но дело, опять же, не в «измах», а в форме, которая в наши темные времена, когда мы с трудом додумываем мысль – а додумав,

сожалею об этом мыслительном акте насилия над самими собой, попадая все в тот же капкан воли, из которого выход только один – перейти к действию, сделать хоть что-нибудь: вымыть посуду, сочинить пост в «Фейсбуке», если уж не можем выйти с плакатом на улицу и подвергнуться задержанию, – по-прежнему ищет сама себя. Но ведь ей недостаточно феноменологии воли, как и феноменологии содержания. Ясно ли мы выражаемся? И уж не издеваемся ли мы над читателем, позволяя себе в «строгой форме» этакий художественный кульбит, не нарушаем ли те самые формальные законы, о которых говорим, а тем самым и принятые конвенции относительно правил игры, и не радуемся ли тайно пустопорожнему разрежению нашей чересчур сконцентрированной мысли?

Вот они, уроки Джойса! Никто не обещал, что разговор об авангарде должен быть прост. Темное посредством темного.

Так что, «продолжая, заканчивая и начиная» обсуждение нашей нелегкой темы, мы и должны бы акцентировать это разрушение структуры дискурса все больше и больше как своеобразный выпад против слишком ясной системы изложения. Потому что с «ясной», системной точки зрения понимание, что же такое авангард сегодня, невозможно. Стройная теоретическая платформа, которой, вероятно, ожидал читатель, оставалась бы фейком. Не то чтобы это была очередная спекулятивная подделка, но, скорее, структурирование одной из зон симуляции в эти наши патафизические времена, когда от симуляций уже тошнит. Но если мы понимаем авангард как сопротивление, в том числе и в навязываемых системой иерархиях, и в теоретическом дискурсе, то каковы тогда очаги сопротивления? Сеть – подсказывает наимоднейший Бруно Латур. Да, Сеть. И акторы, согласно новейшим веяниям, необязательно должны быть одушевлены. Что

же, остается ждать, когда авангардом займутся роботы, камни и хомячки, в лучшем случае – деревья. Все же ведь авангард – не то, что было, а то, что будет. Кстати, литературные простачки-хомячки уже давно пишут свое и получают свои литературные премии, а это мы, бедолаги-авангардисты, по-прежнему развиваем шизофренический дискурс, лишь бы хоть как-то противостоять параноидальной упрощающе-хомячьей власти. Вот почему мы пытаемся говорить обо всем сразу, а как иначе во времена детерриториализации? Когда еще нас достигнут новая точность и новая ясность, и когда еще мы им поверим? Качание, опыт морской болезни на суше, как говорил Кафка, – все, что нам суждено. Прыг-прыг по именам кумиров, как по клавишам, – наш код. Плюс спонтанность, сумбурность, в которой давно пора упрекнуть автора этих строк, который почему-то называет себя «мы». Те самые вихри авангарда, турбулентные потоки, омуты-ловушки для проникательных, в которых так сладко утонуть. Почему мы вообще хотим ясности и где границы наших рациональных высказываний? Разве мы не должны отстаивать свою территорию для того, чтобы ее покинуть?

Нет ответа, что такое авангард. Его никогда и не будет. Остаются только наши попытки встать лицом к вечности, которая уносит нас назад, как того ангела с картины Пауля Клее. И все же – старое, доброе, сентиментальное – почему-то не уйти от ощущения, что авангард – это по-прежнему то последнее, подлинное в нашем фальшивом мире, где правит экономический демиург. Художник, которого мало кто услышит, должен научиться ни на что не надеяться или, как однажды выразился Рембо, «работать в перспективе на никогда». Правильнее было бы сказать, что авангард сегодня – это форма личного безумия и бессмертия, одинокого голоса, который пред-

почитает остаться непонятым; это форма предавшего нас божества, оказавшегося нашей выдумкой, что не отменяет законов судьбы, в чем наша последняя надежда.

А теперь, когда с ностальгией и со спекуляциями покончено и множественное число нам уже ни к чему, я хотел бы показать тебе, читатель, путь авангардистского письма на деле. Конечно, это всего лишь одна из возможностей, но, быть может, она заставит тебя задуматься и о некоем множестве жизненных траекторий, и о сопутствующих этим темным путям рисках. А может быть, сделает и из тебя авангардиста.

Итак... ты комкаешь лист и бросаешь его в корзину. Это начало письма. Необходимые сомнение и отчаяние. Только что они неслись перед тобой, эти слова, и... снова ты здесь. Оказывается, ты просто сидишь на стуле, поверхность стола, белый лист бумаги, лампа, опять ты всего-навсего здесь. А хотел бы быть там.

Где?

Первый из вопросов. И со всей неясностью, со всей неоднозначностью ответа догадка о пространстве. Что-то должно приоткрыться прежде всего. Слова и формы уже потом. Писатель – это видение, а не стиль, как сказано у Пруста. А видение невозможно без раскрытия. Это особое «зрительное» ощущение художника, ощущение чего-то, что раскрывается, что вдруг видишь, что захватывает тебя и во что втягиваешься, это может быть мнимый мир или реальный, мир из красок, звуков или слов, мир сновидений или воспоминаний. И как будто уже подхватывает, несет глубоководное течение, что надо отказаться от себя, отдаться, предоставить все свое существо в распоряжение странного, уносящего куда-то потока.

Куда?

Изменение движения связано с изменением самого субъекта письма, и теперь ты уже не тот, кто всего лишь

застыл в ожидании. Рискнув и отдавшись письму, ты уже чего-то достиг, над тобой потрудились время произведения, и теперь относительно него ты уже слегка повзрослел. Ты не ребенок, который не знает, как сделать первый шаг. Ты можешь оглянуться, и теперь тебе есть на что. Для пишущего это оглядка в языке. Язык через поименование вещей, через выхватывание их из той первичной, зрительной и звуковой темноты, в которую они погружены в силу своей нерасчлененности и невежества, подобен потоку световых корпускул, столкновение с которыми и отражение (от) которых и порождают эту странную дискретность слов. Язык есть подсказка – «как» и «почему» она, эта словесная действительность, все время меняется. Позволяет оттолкнуться от уже найденных слов и, словно бы в маленьком прыжке переходящего на бег шага, увидеть следующие вслед за ними. Язык позволяет догадываться о порядке приоткрывающихся в произведении вещей. И это и есть – «как».

«Как» незаметно, прыжок за прыжком, проявляет карту или структуру движения. Ни то, ни другое не дается изначально. Но когда обретается, путешествовать становится, конечно же, легче, и вместе с этой легкостью появляется и уверенность, как будто уже видны и весь маршрут, и даже сама его цель. Однако это всего лишь близорукость рассудка, способного разглядеть только малые расстояния. Недалекий ум ищет, где бы завершить, он озабочен выводами и спрямляющими расстояния суждениями, не понимая, что настоящие пути могут быть не только пространственными, но и кривыми. И ты, вступая в пору взросления как субъект письма, уже предчувствуешь странный оттенок разочарования, что в высвечивающей работе языка словесное движение становится все яснее и все определеннее, что уже, возможно, появляется и персонаж, и намечается и его история, и что

так путь с неизбежностью выстраивает себя в некоем узнаваемом направлении («как» указало «куда», а «куда» указало на «что-то» или «кого-то»). Так путь нащупывает в своих словах нечто уже известное и потому безопасное, потому как где-то здесь и похожим образом проходили и другие. И здесь – недвусмысленная близость с реализмом. Впрочем, в этом нет ничего плохого. Но все же именно этот оттенок неудовлетворенности или странного беспокойства по поводу того, что открывалось как пространство, обладало очарованием неизвестности и даже риском невозможности, а на поверку оказывается чем-то чересчур знакомым, именно это чувство способно теперь подсказать, позволить снова слышать в легком обертоне неудовлетворенности тот странный зов, что застаёт себя в изъятии себя и заставляет снова сделать то самое «первичное авангардистское» движение по направлению, которое никогда не начинается «здесь», лишь разве что в качестве отталкивания, и что, быть может, является и очарованием смерти самого «реального», его соблазнов, как изъятие субъекта письма из самого себя и становление кардинально другим, преодолевающим некий разрыв. Что это иное качество – наступать другие неочевидные порядки и даже те, что видимы, но не так, как они видимы в свершившихся или возможных фактах, а как тайные и неочевидные причины, посредством которых субъект письма (ты, конечно же, ты) присутствует для себя в том скрытом опыте, за фактами (возможными или действительными), что на письме он почему-то дан себе именно так, и что, быть может, именно таков тот кардинальный, метафизический или патафизический опыт, который и хочет именно так раскрыться посредством тебя-субъекта.

Надеюсь, теперь ты понимаешь, насколько темны и рискованны пути авангарда?